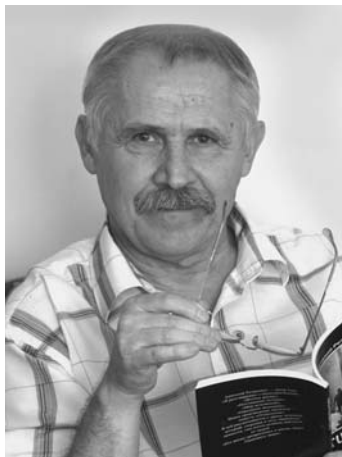


ГЕОРГИЙ МАРЧУК



МАРТОЧКА

РАССКАЗ

Сегодня день независимости Украины. Уже, пожалуй, года четыре, как меня не приглашают на этот национальный праздник в посольство Украины. И мечтать нечего, забыли. Каждый новый посол (исхожу из собственных наблюдений) по приезде в нашу страну собирает вокруг себя свой бомонд. Кое-какая мизерная информация о жизни страны-соседки безусловно доходит. Но это в основном экономико-политические вести. О культуре, литературе, искусстве — гробовое молчание на всех телеканалах. Этот минус следует отнести и к белорусскому телевидению. Восхищаясь и популяризируя, где только можно, как только можно, творчество великих художников эпохи Возрождения в Европе и не менее великих художников-передвижников XIX века в России — я не знаю творчество великого украинского художника, моего современника, академика Ивана Марчука. Ведь мы, выходит, дети одного родового древа. Стыдно, спросите вы? Да, стыдно. Охватить житие и творчество всех талантливых художников, равно как и талантливых писателей, композиторов, невозможно. Понимаю с некоторой долей огорчения: как мало успевает человек напитать себя красотой за жизнь, но ведь украинский художник — особая забота... Ведь из Марчуков, может ровенских, как мой украинский дед Илья. Впрочем, этот стыд еще подлежит исправлению, смягчению. Он еще не приближен к греху. Вот что делать с глубинным стыдом,

МАРЧУК Георгий Васильевич родился в 1947 г. в Давид-Городке Брестской области. Окончил Белорусский театрально-художественный институт и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Прозаик и драматург. Автор многих книг прозы и пьес. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, награжден медалью "Ревнителю просвещения" Российской академии словесности. Секретарь правления Союза писателей Беларуси. Живет в Минске.

который временами будоражит память и возвращает к навсегда радужным воспоминаниям? Недаром еще Зевс говорил, что стыд и совесть суть основополагающие начала духовного саморазвития — об этом греки пишут в своих мифах.

Итак, возвращаемся в юность. Давид-Городок, мое провинциальное местечко, 1962 год. Ах ты, опьяняющая, очаровывающая свободой, удовлетворением простых житейских желаний — рыбалка, кино, танцы, игра в карты, футбол, теннис, снова рыбалка — летняя пора. Ах ты, ожидание сладкого предчувствия первых поцелуев, радость от аплодисментов на концерте в клубе, ах ты, счастье молодости — пора каникул! Кажется, это насыщение души радостями жизни и самой жизнью как таковой будет безоблачно всегда и неизменно длиться долго, долго. Никто еще из нас, подростков, не понимает и не пытается осмыслить слова “тяжелая болезнь”, “старость”, “одиночество”. Но они идут рядом, просто мы их не замечаем до поры.

У моего деда была такая же небольшого росточка, подвижная, с каким-то треугольным носом на широком скуластом лице сестра Марта. Из-за этого малого роста ее иначе как Марточка в городке и не звали. Мне было пятнадцать лет, ей семьдесят. Жила она с сыном, золотых дел мастером, который выучился самостоятельно прекрасно играть на мандолине. Он с двоюродным братом моего деда, местным художником Борисом, который тоже самостоятельно освоил гитару, часто удивляли по праздникам всю нашу улицу и прилегающие к ней переулки праздником русских, итальянских и польских мелодий. Имея дело с золотом, сын Марточки подвергался искушению... то ли вел незаконную торговлю, то ли проворачивал иные махинации с золотишком да серебром. При социализме со спекулянтами обходились круто. Побыл он в тюрьме недолго. Вернулся совсем больным, сильно запил и с трудом возвращался к своей редкой профессии. Пенсию по старости Марточка не получала, не было тогда еще такого закона. Нищенствовали, годами Марточка не покупала обновки. Занималась мелкой торговлей, как, впрочем, и все люди ее века, продавала семена цветов да лук с чесноком. Часто брала небольшие суммы на хлеб, сахар, соль, макароны в долг, затем снова одалживала у родни и возвращала долги соседям. От голодной смерти ее с сыном спасали козы, которые были почему-то очень назойливы до агрессивности и, случалось, преследовали меня по переулку метров тридцать-пятьдесят. Они паслись на лужайке перед хатой Марточки и были привязаны к кольям на длинных-предлинных веревках. В отличие от своей хозяйки, козы были злые. Марточка имела общительный характер, останавливалась с каждым и могла подолгу судачить обо всех. Не предмет разговора был для нее важен, а субъект, человек, с которым она с видимым удовольствием беседовала. На свое несчастье, Марточка как-то внезапно ослепла. Вернее будет сказать — почти ослепла. С постоянной палкой в руке, в замусоленной, возможно, довоенной еще серой юбке, в зеленом жакете не по росту с заплатками на локтях, она по привычке продолжала выходить в город, на базар, к церкви. Наша центральная улица одна из немногих была несколько опасна для пешеходов. Марточке, чтобы попасть в церковь, необходимо было перейти центральную в районе кинотеатра “Заря” и Доски почета — это центр города, любимое место тусовки нас, подростков. За Доской почета парк с вековыми тополями, за кинотеатром базар, чайная, рядом пожарная вышка с пятиэтажный дом.

Завидев приближающуюся Марточку, мы отходили в сторону от перехода, потому как никому не хотелось, под руку тем более, переводить бабушку на противоположную сторону улицы. Стеснялись. Марточка, случалось, пускалась на хитрость. “Хлопчык, хлопчык, хадзі сюды! Нешто скажу табе”. Как только кто-то из нас подходил к ней близко, она тотчас хватала его за локоть и уже не отпускала. Руки у нее были сильные. “Перавядзі мяне, хлопец, на той бок, до царквы”, — просила она. И “жертве” ничего не оставалось, как исполнить ее просьбу. Один раз на ее уловку попался и я. Она ухватила меня за руку. Я почему-то очень покраснел. Хлопцы подтрунивали.

— Чый ты? — спросила она неожиданно.

— Осколка Змитра унук.

— Жорык!— обрадовалась она. — Які ты ужэ вялікі вырос. Слава Богу. Мамочку упамінаеш? Молодой пошла. Я плачу, плачу аб ёй. У царкве памалюся. Золотэ сэрца было. Скажы деду, што я тры рублі у суботу прынясу.

— Добрэ, скажу, — мне не терпелось поскорее вырвать свой локоть из ее руки.

До церкви ее не стал провожать, решил не возвращаться и к своей компании. Поднимут на смех.

“Ну, як твоя дзеўка Марточка? Добрэ пагуляў?” Такой издевкой мы всегда встречали провожатых. Через несколько дней опять возле чайной появилась Марточка и, постукивая перед собой палочкой, направилась в нашу сторону. Все мы, и я в том числе, быстро ретировались и перешли к Доске почета. Минут десять она стояла одна у кинотеатра, не решаясь самостоятельно перейти улицу, пока ее одна сердобольная женщина не перевела на другую сторону. Я даже не задумывался над вопросом... почему я, ее кровный родственник, не помог почти слепой тете Марточке? Почему? Через год я заболел туберкулезом, и началось мое почти двухлетнее скитание по диспансерам и санаториям. Может, меня за мою черствость Господь наказал. Ведь к туберкулезникам с опаской надо подходить, их обычно обходят стороной, подалше от палочки Коха. Я избегал старой Марточки, брезговал... так вот получи сам, и тебя будут обходить стороной.

Еще через год я навсегда покинул Давид-Городок. Умер сын Марточки. Тюрьма, болезнь, алкоголь до времени свели в могилу талантливого самоучку. Марточка совсем ослепла. Вскоре из Польши воротилась в родную старенькую, с одной большой комнатой, с дырявой крышей хатку родная дочь Марточки Софья, такая же худенькая и подвижная, улыбочивая и открытая, как и мать. “У Польшчы лепш, як у нас. Чого ты ехала?” — недоумевали соседи.

— Маму шкода... Сляпы ж человек. Даглядаці трэба, — спокойно отвечала Соня.

Я хоть и очень редко, но по случаю навещался в родной городок, но не было у кого просить прощения. Марточка умерла. И вот я подхожу к ее годам. Медленно, но неотвратимо и у меня слепнут глаза, по капельке... нет-нет да горьким комом сдавит горло, укрупняя морщины, воспоминание — стыд. Укоряю сам себя. До слез бередит душу этот стыд. Словно какой-то знак из космоса.

Прости, Марта Михайловна.

КОРОТКИЙ РОМАН

РАССКАЗ

Санаторий для легочных больных размещается в бывшем панском кирпичном доме в бывшей усадьбе Савейки, — это рядом с районным центром Ляховичи, которые до войны были под властью Польши.

Сюда я приезжаю уже вторую зиму на один срок путевки — два месяца. В палате нас четверо: все мужики деревенские, старше меня вдвое, один втрое. Как положено младшему, я больше молчу, слушаю их жизненные истории с одной постоянной присказкой: “Все бы хорошо, кабы не болезнь проклятая”.

Один из нас, с которым я не успел познакомиться ближе в связи с окончанием срока путевки, уехал, и нам подсадили в тот же день новенького, лет сорока пяти. Чернявый, небольшого роста, остроносый, разговорчивый, деятельный, он сразу пошел с нами на контакт: “Как с дисциплиной, хлопцы? Выпить не грех? По женской части как? Вижу, в столовой есть крали... румяные...” Он впервые попал в санаторий и всем был очарован.

— За нарушение режима выписывают. Одна курва тут, из больных (отдыхающих в этом санатории принято называть — больные) снюхалась с... врачом. Так главный врач отправил ее, гулящую, домой, — растолковывал весельчаку самый старый из нас, который редко покидал палату, не ходил ни в клуб, ни в библиотеку, не играл в шахматы, шашки, тем более в настольный теннис, пребывая больше в угрюмом настроении.

— Ишь ты! Глади, как строго, — задумался чернявый.

Вечером мы вдвоем с ним отправились на танцы. У него разбежались глаза от присутствия женщин всех возрастов. Непоседа словно с цепи сорвался. Не пропускал ни одного танца, перетанцевал со всеми и выбрал все же себе молодуху, лет этак тридцати, краснощекую, чернявую, как и сам.

От главного корпуса до клуба метров пятьдесят. Она единственная из всех женщин пришла на танцы без головного убора. Мороз был градусов под двадцать, да ветерок зимний, как известно, неласков.

— Последний танец, — зевая, объявил массовик-затейник, он же заведующий клубом, он же радист. Очевидно, несмотря на все должности, которые он занимал, он все же недоедал и завидовал нам: “Такие харчи! За что вам такие харчи!” — надувал он с обидой щеки.

И последний танец наш новый сопалатник станцевал с круглолицей. Двинулись все к спальному корпусу, в основном парами. Зимней обуви у меня не было, а летние туфли через тонкую подошву промерзали мгновенно, потому я быстрым шагом направился к своему корпусу. Наш же вертлявый мужичок повел свою барышню в сторону библиотеки, в глубину старого парка к беседке, занесенной снегом, которая основательно проваливалась в темноту. Последний столб с лампочкой стоял у библиотеки. Вернулся он в палату где-то минут через десять после отбоя, в начале двенадцатого, когда дежурная медсестра уже закрывала на ключ огромную тяжелую дверь. От мороза он горел весь или от радости — понять было трудно. Не раздеваясь, он сел на кровать и начал говорить.

— Хлопцы! Я с ней в беседке все... ну, все, понимаете, что мужику от бабы надо. Сразу. Не знаю даже, откуда она приехала, как ее фамилия. Знаю, звать Тамара. Или Татьяна? Забыл на радостях, ей-богу. Ух, хлопцы, так ей мужика хотелось. Аж звенела вся... Замужем... чин чинарем, дети есть, — более спокойно добавил он, когда мы уже засыпали.

Чернявому донжуану не спалось, и он пошел в туалет покурить. Удивленно-возбужденный, он долго ворочался в постели, не мог уснуть. Через день его курносая ночная бабочка уехала, удивив нас на прощанье в столовой новым оригинальным начесом на голове. Срок ее путевки закончился, не оставила она нашему ловеласу ни адреса, ни телефона. Весельчак приуныл, как мне показалось, и от другой причины.

— Неужели все они такие?

— Какие? — поинтересовался учитель, поклонник итальянской песни, который, кстати, сам неплохо играл на мандолине.

— Ну, податливые? Моя же тоже одна в деревне осталась. Год тому в дом отдыха ездила... одна... правда, всего на двенадцать дней, — почему-то заговорил он о своей жене, даже показал нам ее фотографию. — У меня с ней все нормально... но черт их знает, когда в них бес вселяется. Тащу за руку в беседку, — он опять перешел на свою недавнюю знакомую, — идет, не сопротивляясь, — он был ошеломлен быстротечностью случившегося и все искал обоснование этому.

— Думай, думай! Вот то-то и оно. Всем им одна цена, — подсыпал жару самый старый из нас, который держал на тумбочке у изголовья иконку какого-то святого.

Тут мы замечаем — пригорюнился наш весельчак. Три письма кряду написал своей жене.

— Нет, хлопцы, но как это все вразуметь? — искал он у нас ответа на мучившие его вопросы.

— А так и разуместь — разврат он и есть разврат. Они, бестии, на него нацелены каждую минуту, — резюмировал молчаливый, который тяжелее всех нас дышал, у него был двусторонний процесс в легких.

— Не скажи, — вступился за пышногрудую третью, учитель начальных классов, который нещадно ел чеснок и мед, потому как ему внушили, что наряду с барсучьим жиром народные средства, чеснок и мед, излечивают туберкулез, — ее тоже понять надо. Она, как и мы, тут под смертью ходит. Ловит свой, может, последний миг счастья. Может, ошалела от испуга. К ней ведь бояться все подходит. Туберкулезная. Кстати, туберкулезникам больше нужен секс, нежели здоровым. Это я где-то тоже читал.

— Во-во. Как кипяток, — снова загорелся от воспоминаний наш новый сопалатник, — взял за руку — задрожала вся.

— Разврат он и есть разврат, — стоял на своем молчаливый.

Еще через несколько дней наш чернявый вдруг тайно и быстро уехал домой, не попрощавшись с нами. Что-то угнетало его душу.

— Убег к жене. Счас ей разнос делает за двенадцать дней отпуска в доме отдыха. А то! Век живи — век учишь, — с улыбкой говорил нам молчаливый, когда все узнали о побеге из санатория нашего ушлого и компанейского мужичка лет сорока пяти, который каждый день брился и увлажнял свои гладко выбритые пухленькие щечки одеколоном “Красная Москва”, который, кстати, забыл в своей тумбочке, когда спешно собирался домой.

Каково же было наше удивление, когда через неделю мы в палате № 4 получили письмо от нашего чернявого бухгалтера, в котором он рассказал о своем возвращении домой. Сообщил, что сразу-то домой не пошел, решил жену проверить и последить за ней. Как оказалось, сын их учился в столице, в техникуме связи. Писал он, что дотянул допоздна, хоть и было дюже холодно на улице — сторожил подъезд. Никто к ней не пришел, и она сама дом не покинула, а, едва завидев его на пороге, обрадовалась: “Ваня?! Я как чувствовала и борща твоего любимого сварила. И что удивительно, Ваня, со-рока полдня перед окном трещала, гостя кликала, а тут сам хозяин приехал”. Так и сказала, хлопцы, ей-богу”. “Что там эти санаторские харчи, хлопцы! И дома можно хорошо питаться. Главное — на душе спокойно. Так желаю вам выздороветь, чтоб мы еще порадовались жизни”.

Нам не хотелось обсуждать его письмо, да никто и не комментировал. Просто каждый думал о своем, а может, о своей, потому как здоровый или больной, а без женщины ты не человек, а полчеловека. Забытым одеколоном пользовались все. Правда, жадноватый ворчун — старший из нас — наливал себе в ладонь, не жалея. Каждый ловит свой миг удачи, и мы его за это не осуждали.